

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И Н. Н. СТРАХОВ

1

В 1894 г., когда Страхова, одновременно с Львом Толстым, избирали почетным членом популярного в то время Московского Психологического общества, ему дана была такая характеристика:

«Человек разносторонне и широко образованный, мыслитель тонкий и глубокий, замечательный психолог и эстетик, Страхов представляет и как личность выдающиеся черты — стойкостью своих убеждений, тем, что он никогда не боялся идти против господствующих в науке и литературе течений, восставать против увлечений минуты и выступать на защиту тех крупных философских и литературных явлений, которые в данную минуту подвергались гонению и осмеянию».¹

Московским Психологическим обществом руководил тогда Н. Грот, во многом единомышленник Страхова, тоже идеалист, последователь Шопенгауэра, метафизику его пытавшийся использовать для обновления старой, реакционной, христиански-славянофильской «этики отречения». То, что Страхов шел «против господствующих течений» (разумеется, против фейербахианства, материализма и позитивизма), боролся с демократическим крылом в литературе второй половины прошлого века, с Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, Некрасовым и Салтыковым, — ставилось ему, при избрании, очевидно, в особенную заслугу. Дальше в его характеристике так и сказано: «Как политический мыслитель, Н. Н. Страхов всегда писал в духе и в защиту славянофильства».

Страхов действительно был человек разносторонне и широко образованный: философ, историк, литературовед, физиолог и психолог. Он был естествовик по образованию; окончил физико-математический факультет и представил магистерскую диссертацию по зоологии («О костях запястья млекопитающих»). Его

философские труды: «О методе естественных наук и их значение в общем образовании», «Мир как целое», «Философские очерки»; многочисленные статьи по психологии, в частности книга: «Об основных понятиях психологии и физиологии»; три книги по философии культуры («Борьба с западом в нашей литературе»), в которых дается для того времени (70-х годов) оригинальная и нарочито «спокойная» по тону оценка философским и историческим воззрениям таких, с точки зрения правых, одиозных мыслителей, как Герцен, Ренан, Тэн, — во всех этих работах видны обширная эрудиция автора.

Эрудитом является Страхов и в своих литературных статьях, отличающихся прозрачностью языка и ясностью изложения. Тон осторожного исследователя, наукообразной убедительности стремился он соблюдать в своих оценках и приговорах. И это давалось ему тем легче, что навыки, им приобретенные в занятиях естественными науками, вполне соответствовали его крайне уравновешенному характеру, вследствие которого он никогда не играл роли застрельщика, не стоял на передовых боевых позициях.

«Один из трезвых между угорелыми» — так, говорил Страхов, можно будет написать на его могиле. «Угорелыми» были для него не одни нигилисты, последователи идей «Современника» и «Отечественных Записок». «О защитниках православия», выступавших против Толстого, он писал: «Они стоят за веру, а потому разрешают себе всякое извращение и неуважение чужих мнений; они стоят за нравственность, а потому считают долгом быть резкими и грубыми».²

Подобие «либерализма» в вопросах этического характера, позиция как бы несколько со стороны, позволявшая ему в какой-то мере свободно относиться к своим же, подвергать и их, хотя бы временами, критике и осужде-

¹ «Вопросы философии и психологии», 1896, март—апрель, стр. 302.

² Там же, стр. 304.

нию, а также широта кругозора, охватывавшего самые разнообразные области человеческого творчества, — вот что давало Страхову право на расположение и дружбу таких людей, как Толстой и Достоевский.

2

С Достоевским Страхов познакомился в начале 1860 г., вскоре по возвращении Достоевского из Сибири. Они оба бывали у довольно популярного в то время писателя и педагога, «преподававшего литературу по Белинскому», А. П. Милюкова, с которым братья Достоевские состояли в дружеских отношениях еще с 40-х годов, как с петрашевцем, членом кружка Дурова.¹ У Милюкова, фактического редактора только что основанного (в январе 1860 г.) журнала «Светоч», собирались по вторникам разные литераторы: поэт Аполлон Майков, Достоевские, фельетонист и поэт Д. Минаев, молодой Вс. Крестовский; приглашен был и Страхов, напечатавший в первой книжке «Светоча» свою первую большую статью, с которой он выступил в петербургской большой прессе: «Значение гегелевской философии в настоящее время».²

Они встретились вначале как люди резко противоположных интересов и направлений, как представители двух разных эпох и культур. Страхов, по его собственным словам,³ занимаясь философией и зоологией, «сидел прилежно за немцами, в них, в частности — в Гегеле, видел вождей просвещения». «Знать Гете наизусть и понимать Гегеля» — было для него верх образования; он «поклонялся науке, поэзии, музыке, Пушкину, Глинке»; — словом, совсем идеалист 30-х годов, подобно Аполлону Григорьеву, который тоже вскоре появится в орбите Достоевского.

В то же время литераторы из кружка Милюкова и прежде всего сам Достоевский, среди них «первенствовавший не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которой их высказывал», — наоборот, немцев совсем не уважали; они «очень усердно читали французов, политические и социальные вопросы были у них на первом плане и поглощали чисто художественные интересы». Достоевский, по утверждению Страхова, был тогда «вполне проникнут этим публицистическим направлением». Он придерживался «теории среды», ставил своей задачей «наблюдать и рисовать различные типы людей, преимущественно низкие и жалкие,



Н. Н. СТРАХОВ.

С фот. А. Шапиро в СПб. (Институт литературы АН СССР.)

и показывать, как они сложились под влиянием окружающих обстоятельств»; суждения свои о человеческих свойствах и действиях высказывал «не с высоты нравственных требований, не по мерилу разумности, благородства, красоты, а с точки зрения неизбежной власти различных влияний и неизбежной податливости человеческой природы».

Немецкая субъективно-идеалистическая эстетика с ее теорией «свободного искусства», ставившей художника не а д жизнью, вне «идеалов и забот сегодняшнего дня», столкнулась, в лице Страхова, с «теорией французской», материалистической и просветительской, — с теорией, требовавшей, как ее определяет Страхов, «служения современной минуте», уловления и отражения в образах «последней и новейшей черты в общественной жизни». Так утверждается категорически столь авторитетным свидетелем Страховым, что не в Сибири, не под влиянием пережитого на каторге началось «перерождение убеждений»

¹ См. мою работу «Достоевский среди петрашевцев», «Звенья», 1936, № 6.

² «Светоч», 1860, кн. I, стр. 3—61.

³ Страхов. «Материалы к биографии Достоевского», 1883, стр. 172.

Достоевского. Продолжается, повидимому, все та же линия, которая привела его к петрашевцам, к самому левому крылу их, к тем, которые группировались возле Спешнева.¹

И все же были, очевидно, в воззрениях Достоевского уже в то время какие-то стороны, которые не укладывались в господствующую «теорию среды», начались какие-то колебания. Страхов говорит об этом неясно, словами отвлеченными: «Был он мне слишком непонятен»; «поражал неистощимой подвижностью своего ума»; порою казалось, что «в нем как будто не было ничего сложившегося, так обильно нарастали мысли и чувства, столько таилось неизвестного и непроявленного под тем, что успело сказаться». И в другом месте: о раздвоении Достоевского, о том, что сам Достоевский называл «рефлексией», о способности его «очень живо предаваться известным мыслям и чувствам и в то же время смотреть на них со стороны, с некоей непоколебимой точки душевного центра». Она сказывалась, эта рефлексия, «в необычайной широкости его сочувствий, в умении понимать различные и противоположные взгляды».²

Было не только понимание, но уже и некое сочувствие противоположным взглядам: так стал обнаруживаться начавшийся процесс «перерождения убеждений». И пример конкретный; это отношение Достоевского к Страхову, к его статьям натурфилософического содержания, за которые Достоевский уже тогда обратил особое внимание. Как ни осторожен был Страхов в первых своих выступлениях, — его приверженность к немецкой идеалистической философии и, в связи с этим, в области вопросов нравственности, его отрицание теории среды были высказаны в этих статьях с достаточной ясностью.

В 1860 г. печатается целый ряд статей Страхова под заглавием: «Письма о жизни»;³ в них речь об основных свойствах органического мира. И вот утверждается, что в организме происходят два противоположных ряда явлений или процессов; одни, «явления круговорота», «служат только для возобновления организмов в прежнем виде», — это ряд механический; другие же связаны с развитием организма, как с основным его признаком, с его

«постепенным совершенствованием». Развитие, таким образом, есть процесс, как бы из самого себя проистекающий, из некоей таинственной сущности, в организме заключенной, т. е. из начала духовного, из идеи. Страхов так и говорит: «переход в высшие формы зависит не столько от внешних условий, сколько от самого организма».

Дальше будет указано, как глубоко внедрится в мирозерцание Достоевского эта страховская натурфилософическая концепция. Применительно к вопросам нравственности, в смысле влияния окружающей действительности на поведение человека в обществе, она явно оборачивается против «теории среды». Так Страхов и поступает в разборе⁴ книги П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии».⁵

Страхов, полемизируя с Лавровым, утверждает, что «истинным двигателем истинно-человеческой деятельности всегда были и будут идеи», что на поведение человека среда не должна оказывать и не оказывает никакого влияния. «Существенным, необходимым образом воля подчинена только одному — именно идее своей свободы, идее неподчинения, самобытного и сознательного самоопределения». У Достоевского на этой мысли, на «идее неподчинения», «самобытного самоопределения», будут вскоре построены «Записки из подполья»,⁶ которые являются как бы прологом ко всем его большим романам, начиная с «Преступления и наказания».

Страхов рассказывает, что эти-то статьи его в «Светоче» за 1860 г., направленные против «реализма» Чернышевского и Лаврова, и «обратили на себя внимание Достоевского». Решившись начать с будущего года издание толстого ежемесячного журнала «Время» и подбирая для него сотрудников, Достоевские «заранее усердно приглашали его», Страхова, гегельянца, идеалиста, работать в журнале.⁷

3

Лицо журнала Достоевского «Время» определялось в значительной мере Страховым. Родоначальником идеологии «почвенничества», которую журнал разрабатывал, был Аполлон Григорьев; страстно проповедовал ее Достоев-

¹ См. вышеуказанную работу мою в «Звеньях», 1936, № 6.

² Н. Страхов. «Материалы к биографии Достоевского», стр. 173—174.

³ «Светоч», кн. 3, стр. 1—40; кн. 5, стр. 1—23; кн. 8, стр. 1—22.

⁴ «Светоч», 1860; кн. 7, стр. 1—13.

⁵ О Лаврове см. подробнее т. II писем Достоевского под моей редакцией, стр. 504—505.

⁶ Впервые напечатаны в 1864 г. в «Эпохе».

⁷ Н. Страхов. «Материалы к биографии Достоевского», стр. 277.

ский. Но Григорьев крайне туманен и сбивчив; свою мысль он никогда не мог довести до ясности. Те взгляды, которые он пытался высказывать на каком-то особом, своем языке, представляли собою не столько систему, сколько сплав, состоявший из самых разнородных и противоречивых элементов, — хаос в том состоянии, когда только что начинает для него намечаться форма. Достоевский, «необыкновенно живо чувствующий мысль», обладавший исключительной способностью вдруг зажигаться какой-нибудь идеей, самой простой, иногда давно известной, и давать ей резкое, образное выражение, — тоже логически никогда ее не разъяснял, как он сам часто жаловался на этот недостаток, «не умел разворачивать содержание своих мыслей». Один только Страхов умел быть понятным и в меру убедительным для тех, кто упорно искал в журнале ответа на вопрос: в чем же заключается сущность этого крайне туманного «почвенничества».

Как «почвенники», Аполлон Григорьев и Достоевский все время твердили, что они не западники и не славянофилы. Хотя они тоже, как славянофилы, выдвигают главной своей мыслью, что интеллигенция «оторвалась от своей почвы» и что «следует искать своей почвы» в народных началах, но их «почва» совсем другая, не славянофильская, и другое они понимают под «народными началами». Были здесь возможны два пути: либо путь к Герцену, противопоставление России Европе в свете истории и вопросов современности, подобно Герцену тоже стать на ту точку зрения, что только русский народ способен осуществить идею, которой «беременна Европа», идею социализма; русский народ на это подготовил своеобразие его исторических судеб, сохранившийся до сих пор его общинный строй. Или уже прямо скатиться к славянофильству: признать, что русский народ — «народ-богоносец»; истинное христианство, православие определяет его душевный строй.

Достоевский пробовал вначале идти по первому пути; с славянофилами, по словам Страхова, «он был тогда почти незнаком». А то малое, что знал о них, надо думать, не из первоисточников, то вряд ли разделял.

Про этот именно начальный период сближения с идеями Герцена Страхов и говорит, что

«некоторое время я расхохотался с направлением „Времени“, причем не могу сказать, чтобы я горячо проповедывал или отстаивал свое расхождение»;¹ очевидно, Страхову уже тогда было ясно, что по первому пути Достоевский далеко не пойдет. Слова Страхова о себе здесь очень показательны: «Мысль о новом направлении сперва занимала меня, но очень скоро, по своему расположению к неопределенности, я решил, что нужно прямо признать себя славянофилом».

В том, что дело, которое, по выражению Страхова, хоть «и без того шло своим естественным путем к необходимому выводу», к славянофильству, но пришло к нему, сравнительно, так скоро, — роль Страхова была очень большая. Она сказалась прежде всего в той борьбе, которую он повел во «Времени» против «нигилистов» и «теоретиков» — против Чернышевского, Добролюбова и Писарева. Именно он, Страхов, вовсе не Достоевский, положил «начало борьбы с нигилистическим направлением». Статья Достоевского «Г — бов <Добролюбов> и вопрос об искусстве» в февральской книжке «Времени» за 1861 г., в которой отстаивается мысль, что художественные произведения могут быть вообще «не только полезны, если они и «не имеют ясной тенденции», совсем уж не так противоречит эстетическим воззрениям Чернышевского и Добролюбова. Не говоря уже о тоне статьи: по тону она во всяком случае не принадлежит перу противника.

«Но мне, — говорит Страхов, — не терпелось и хотелось скорее стать в прямое и решительное отношение к нигилистическим учениям». В статье «Еще о петербургской литературе» в июньской книжке «Времени» за 1861 г. он и стал впервые в это прямое, решительное и враждебное отношение и дальше продолжал в этом роде чуть не в каждой книжке журнала. «Рассказываю об этом потому, — читаем мы тут же у Страхова, — что дело это имело чрезвычайные последствия: оно повело к совершеному разрыву „Времени“ с „Современником“, а затем к общей вражде против „Времени“ всей петербургской журналистики».² Скромность была свойственна Страхову по натуре. Своей роли он никогда не преувеличивал: разрывом своим с «Современником» «Время» действительно ему объясано. Но вовсе не потому, что он открыл: эту полемику и повел ее в слишком резком тоне: статьи его справед-

¹ Н. Страхов. «Материалы к биографии Достоевского» стр. 205.

² См. Н. Страхов, «Из истории литературного нигилизма», стр. XI.

ливо воспринимались как более яркое выражение некоей идеологии, которая стремится стать определяющей по отношению к журналу в целом, — идеологии, еще не оформившейся, еще в тенденции, но в основе своей уже намекающей как безусловно враждебная. В свете статей Страхова открывался мало-помалу подлинный смысл статей и других авторов, которые почему-то не хотели или не могли быть столь же понятными.

4

Процесс «перерождения убеждений» у Достоевского, если говорить о явных его признаках, длился довольно долго. В «Зимних заметках о летних впечатлениях», напечатанных в первой книжке «Времени» за 1863 г., впервые колебания его между путем Герцена и путем славянофилов явно склоняются в сторону вторых. Завершился же этот процесс окончательно в 1864 г., в «Эпохе». Это были годы наибольшей близости со Страховым и наибольшего его влияния. Позднее, в 1873 г., во времена редактирования «Гражданина», Достоевский так прямо и сказал Страхову: «половина моих взглядов — ваши взгляды».¹ Страхов объясняет эту «большую похвалу» тем, что «люди с художественным складом ума часто видят большое достоинство в логическом развитии мыслей, к которому сами они мало расположены, и когда в основах есть совпадение, . . . то художникам бывает очень приятно отвлеченная формулировка их идей и чувств». Психологически, может быть, это и верно. И то — вряд ли всегда; Толстого, например, раздражал перевод на язык логический художественных его идей.² Но дело здесь не в психологии, а в факте признания самим Достоевским, как многим он обязан Страхову в своей идеологии.

Когда обмен мыслями происходит в виде личных бесед, оно особенно действенно. Страхов так вспоминает об этом периоде, об этих первых 60-х годах, когда дружба его с Достоевским, которая «имела преимущественно умственный характер, была очень тесна»: «Разговоры наши были бесконечны, и это были лучшие разговоры, какие мне доставались на долю в жизни. . . Самое главное, что меня пленяло и даже поражало в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую мысль, по одному слову и намеку. В этой легкости понимания заклю-

чается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против центральной мысли, согласие дается на то, на что его просишь, и нет никаких недоумений и неясностей. Так мне представляются тогдашние бесконечные разговоры, составлявшие для меня и большую радость и гордость».³

В одном из писем, которые ниже печатаются, Страхов говорит об этих «бесконечных» беседах с тем же чувством радости, что они были, и в то же время и грусти: *были и, увы!* их давно уже нет. Та полоса в их отношениях, когда «чувство переходило уже в нежность», никогда больше не повторялась; с 1865 г. начались скитания Достоевского, их разделило расстояние. Здесь же воспроизводится интимная атмосфера, которая так сильно содействовала взаимному проникновению мыслями; разговаривали на «всевозможные темы», предметом разговоров были «очень часто отвлеченные вопросы: о сущности вещей, о пределах знания», и тут уж, конечно, тон задавал Страхов. «Достоевский, — прибавляет он, — любил эти вопросы»: выработалась целостная идеологическая система, которая должна стать основой творчества второго периода, нужно было доискиваться до самых корней.

Но, может быть, кроме петербургских «бесконечных разговоров», их особенно сблизило совместное заграничное путешествие, летом 1862 г., когда они, в течение месяца с небольшим, были неразлучны; никого не было знакомых: ни из русских, ни из иностранцев; на осмотр исторических памятников, произведений искусства, окрестностей итальянских городов, по словам Страхова, тратили времени очень мало. Так и остались от этого путешествия особенно памятными «вечерние разговоры за стаканом красного местного вина».⁴

Здесь невольно напрашивается следующее сопоставление фактов. Страхову запомнилось своеобразие интересов Достоевского за границей: «все его внимание было устремлено на людей, он охватывал их природу и характеры», как они проявлялись в уличной жизни и в общественных местах. Россия и Европа; западная культура, в чем ее сущность: не в прошлом, а в настоящем, в свете русской действительности — вот тот во-

¹ Н. Страхов. «Материалы к биографии Достоевского», стр. 238.

² Н. Гусев. Толстой в расцвете художественного гения, стр. 222.

³ Н. Страхов. «Материалы к биографии Достоевского», стр. 224—225.

⁴ Там же, стр. 244.

прос, с которым Достоевский приехал в Европу, чтобы решать его не отвлеченно, не по книжному, а на основании собственных наблюдений. Отсталая Италия, там, где он отдыхал вместе с Страховым, — это история, прошлое Европы. Париж и Лондон — вот высочайшие вершины тогдашней буржуазной цивилизации. Достоевский был в этих столицах до Италии, и там он впервые не то что понял, а почувствовал, глубочайшим образом пережил современную проблему Европы: о непримиримости классовых противоречий, когда на одном полюсе — неслыханные богатства, звериная жестокость эксплуатации, а на другом — ужасающая нищета, голодная смерть и гибель, физическая и нравственная, ни в чем неповинных детей. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» все это передано с такой болью за человека и с такой потрясающей силой, с какой до сих пор еще никто не говорил в русской литературе. В Лондоне были встречи с Герценом. И, конечно, не воздействие в смысле только л и т е р а т у р н о м имеет в виду Страхов, когда утверждает, что «к Герцену Достоевский тогда относился очень мягко, и его „Зимние заметки“ отзываются несколько влиянием этого писателя».¹ В личных беседах, — когда «возражение делается прямо против центральной мысли, когда на вопрос сейчас получается ответ и нет никаких недоумений и неясностей», — сопоставлял Достоевский свои взгляды со взглядами Герцена по теме, одинаково их волновавшей: о России и Европе. И вот, повидимому, о чем были «вечерние разговоры» со Страховым в Италии, во Флоренции: все о той же теме, и как Герцен ее ставит и решает. Россия, ее история, ее роль в грядущих судьбах человечества — по Герцену или по славянофилам? Страхов, который «не любил неопределенности», давно уже твердил, что «надо прямо признать себя славянофилом». И теперь, очевидно, победа уже окончательно осталась за ним. «Зимние заметки» резко распадаются на две части: по гневному пафосу отрицания буржуазной Европы мы в сфере мыслей и настроений «Писем из Франции и Италии» и «С того берега» Герцена; когда же речь идет о России, то все завлакивается приторно сладким дымом славянофильского ладана; православию еще не названо, но уже все признаки налицо: и покорность и смирение, — полное отречение от своей личности.

И дальше роль Страхова все более и более усиливается.

«Зимние заметки», где «русские начала» в славянофильском их понимании провозглашены уже явно как единственное средство спасения человечества от гибели, были напечатаны в январе 1863 г. Тогда же началось польское восстание, на отношении к которому ясно определились классовые позиции борющихся социальных сил в России. Славянофильский «День» Аксакова и недавно еще «англизировавшие» «Московские Ведомости» Каткова сразу и резко повернули на путь свирепейшей реакции, поддерживая все решения самодержавного правительства. Петербургская демократически-левая пресса по цензурным условиям почти сплошь молчала; журнал же Достоевских «Время» решил занять особую позицию: ставить польский вопрос не в плоскости конкретных политических действий, а, как выражается Страхов, «возвести его в общую и отвлеченную формулу». Страхову и поручено было это дело; за подписью «Русский» он написал статью под заглавием: «Роковой вопрос», из-за которой журнал был закрыт.

Вышло недоразумение: статья оказалась слишком спокойной в своей отвлеченности; Страхов не призывал в ней к «крови и железу», и «свирепые патриоты» из «Московских Ведомостей» обвинили его в полонофильстве. Мысль статьи была та, что борьба поляков с русскими представляет собою, в основе, борьбу двух цивилизаций: европейской и русской, ложной, аристократической и — истинной, н а р о д н о й; окончательное разрешение польского вопроса наступит лишь тогда, когда русские одержат над поляками д у х о в н у ю победу; для этого необходимо осознать, в чем наше различие от Европы, уяснить и развить свои самобытные начала. «Достоевский, — говорит Страхов, — был очень доволен статьей и хвалился ею».² Это те же мысли, что в «Зимних заметках», та же славянофильская антитеза: «Россия и Европа». Когда же в «Московских Ведомостях» неким Петерсоном был напечатан на «Время» донос, и пошли тревожные слухи, что журналу грозит смертельная опасность, Достоевский написал ответ, в котором еще резче подчеркнул свой сдвиг в сторону славянофильства.³

Прошел почти год, пока правительство разрешило вместо закрытого «Времени» издавать журнал «Эпоху».⁴ В «Эпохе» Страхов продолжал свою «борьбу с нигилизмом» еще с большей решительностью. Достоевский выступил со своими

¹ Н. Страхов. «Материалы к биографии Достоевского», стр. 240.

² Там же, стр. 247.

³ Там же, стр. 249—254.

⁴ «Время» было закрыто в мае 1863 г., первая книжка «Эпохи» вышла в марте 1864 г.

«Записками из подполья»,¹ этим своеобразным прологом ко всей его литературной деятельности второго периода, когда борьба с революцией стала одной из главных его тем. Дальше будет показано подробно, как в «Записках из подполья», написанных против романа Чернышевского «Что делать?», «взгляды Достоевского» — действительно «наполовину взгляды», высказанные раньше Страховым.

По причинам внешним и внутриредакционным «Эпоха» просуществовала только год;² никто ее не закрывал: она уже была вполне «благонамеренная»; «Эпоха» сама закрылась за отсутствием достаточного количества читателей. Мы знаем, что тогда наступило между Достоевским и Страховым охлаждение, но вряд ли по причинам идеологического характера. Позднее, в период «Подростка», когда в их отношения действительно вмешается, в какой-то мере, несогласие в идеологии, Достоевский скажет о Страхове слова суровые: «это дрянной семинарист, он прибегает только тогда, когда успех, так было с „Преступлением и наказанием“». Характеристика, безусловно, неверная, продиктованная минутным раздражением, когда хотелось самого себя уверить, что и в «Подростке» нет никакой уступки «Отечественным Запискам».³ Во всяком случае письма Страхова, здесь публикуемые, в сопоставлении с письмами к нему Достоевского, ясно показывают, что идейно они были единомышленниками в охватываемый этой перепиской заграничный период Достоевского: годы 1867—1871. Страхов говорит об основной идее «Идиота», воплощенной в образе кн. Мышкина, как о самой дорогой ему и близкой. Страхов редактирует (в годы 1869—1870) славянофильствующую «Зарю» и совершенно искренно пишет Достоевскому, что в «Заре» он, Достоевский, будет чувствовать себя так же свободно, как и в своем собственном журнале. «Бесы» приводят Страхова в восторг. Во время редактирования Достоевским «Гражданина» Страхов опять сотрудничает с ним. Книга Данилевского, бывшего фюрериста, петрашевца, ставшего потом одним из самых главных эпигонов славянофильства, реакционную сущность которого он выявил с наибольшей резкостью, — его «Россия и Европа» — воспринимается обоими как «капитальное событие».

В некоем покаянном состоянии, в одном из писем к этому же Данилевскому, с которым он был

всю жизнь особенно дружен, идейно и лично, но за что-то на него рассердился, Страхов, между прочим, так пишет о своих отношениях с Достоевским во вторую половину 70-х годов: «Я становлюсь все больше и больше молчаливым. С Достоевским все последние годы я был в разладе, все собирался помириться, да так и проводил его в могилу. На вас я тоже, как вы знаете, сердился. И от чего это все происходит? Мне кажется, что я прав, что другие виноваты; но, наконец, я прихожу к мысли, что есть во мне какой-то недостаток, вызывающий других, так сказать, соблазняющий их на несправедливости. Все это очень, очень грустно, потому что подходит старость, и тоска растет с каждым годом». Так ясно указывает Страхов, что причина расхождения с Достоевским отнюдь не принципиального характера: были недоразумения в плоскости только лично биографической.

5

Период существования «Времени» и «Эпохи» — как указывалось выше — был периодом наибольшей близости между Достоевским и Страховым. Страховым велась главная «борьба с нигилизмом», его статьи определяли наиболее четко общественно-политическое лицо этих журналов. Но воздействие шло гораздо дальше: оно проникало в глубь воззрений Достоевского, освещая в его сознании самый метод его художественного творчества. Достоевский обрел в страховской системе мыслей не только опору для своего идеологического романа, но и ту философскую основу, в сравнении с которой все, что было им воспринято потом из разных других систем, в том числе даже Владимира Соловьева, являлось лишь наслоением.

Это была философия, которую сам Страхов определял как «правоверно-гегельянскую». Так, писал он Н. Гроту в апреле 1893 г.,⁵ всего за два года до смерти: «Я гегельянец, и чем дольше живу, тем тверже держусь диалектического метода». И о том же, о преклонении его перед совершенством гегелевской философии, читаем в первой его статье 1860 г. «О значении гегелевой философии в настоящее время»:⁶ «Вместе с Гегелем кончен раздор между философами; он ввел философию на степень науки, поставил

¹ Напечатано в «Эпохе», кн. 1—2 и 4.

² Закрылась на мартовской книге 1865 г.

³ См. мою работу «К истории создания „Подростка“».

⁴ «Русский Вестник», 1901, февраль, стр. 458.

⁵ См. «Вопросы философии и психологии», 1896, кн. 2, стр. 308; умер Страхов 24 января 1896.

⁶ Напечатано в «Светоч», 1860, кн. I, стр. 3—51.

ее на незыблемом основании...» И дальше: «В самой сущности гегелева взгляда лежит примирение всех взглядов, учений, их взаимное понимание, их слияние воедино». Подтверждает Страхов свою преданность гегелевской философии и в ряде других статей и писем; во имя же Гегеля он ведет свою полемику с Антоновичем.¹

Но уже современники отметили с достаточным основанием, что из «всех учений, примиренных в гегельянстве», Страхов ставит превыше всего учение Декарта. Утверждается Страховым, казалось бы, совсем по Гегелю, тожество мышления и действительности, «знания и бытия», «субъекта и объекта»: «Мысль и то, что не есть мысль (т. е. бытие), — совпадают, тождественны». А на деле — «мир духовный, мир сознательный, непротяженный» слишком уж резко противопоставляется им миру материальному, «протяженному и не сознательному». Для Страхова бытие всегда является чем-то косным; по отношению к «субъекту», к идее — действительность пребывает в положении покорного раба. Человек, его разум — вот «центр и мера вселенной, во всем ее прошлом, настоящем и будущем», так твердит он постоянно в своих работах.

И здесь особенно для нас важна та область, в которой Страхов чаще и яснее всего применяет свою философию. Занимаясь главным образом вопросами о взаимоотношении физиологии и психологии, он придает разуму безграничную творческую силу больше всего в деле познания душевных явлений: того «загадочного», «темного» в человеке, что особенно трудно поддается постижению. Иллюстрируется эта безграничная сила разума басней о том, как солнце пошло осматривать землю, когда ему донесли, что на земле, во многих местах, в некоторые часы дня и времена года — темно. И вот: куда оно ни являлось, все оказывалось ярко освещенным; тогда «солнце не поверило доносу, успокоилось и стало светить попрежнему». Так и человеческий разум: стоит только указать ему на что-нибудь «темное», как «самый взгляд разума будет уже озарением этого темного».² На «темное» в человеческой душе, до того необычное, что многим оно казалось сплошной фантастикой, направил Достоевский свой творческий разум. В страховском толковании отвлеченнейшего из положений о тождественности мышления и бытия — всякого мышления и мышления образами — было достаточно основания

для укрепления веры Достоевского в свой реализм. Говорю: «у к р е п л е н и е»; нет надобности думать, что страховское гегельянство определило в основе творческий метод Достоевского; речь идет только об осознании им своего метода, о философском подтверждении его законности.

В этой именно плоскости особенно важным является для нас вопрос: как смотрел Страхов, идеалист, правый гегельянец, на взаимоотношение тех начал, к которым восходят у него мышление и бытие: на взаимоотношение духа и материи. В эстетических воззрениях Достоевского этот вопрос занимает место центральное, сливаясь с вопросом об отношении искусства и действительности, а в строении образа, особенно центрального героя — с вопросом об идее, которой герой проиикнут: об идее, как о силе, формирующей его психический склад, как и реальную обстановку, им создаваемую. Так, например, идея: «все позволено» определяет полностью Раскольников и Ивана Карамазова — их душевные переживания, их быт, их отношения к людям. То же и Ставрогин, Шатов, Кириллов, кн. Мышкин, Алеша Карамазов, — все они и во всем претворение определенных идей в действительности.

В «Предисловии» ко второму изданию «Об основных понятиях психологии и физиологии» Страхов останавливается на обычном, наивном представлении религии об отношении души и тела: «душа есть некоторое существо, заключенное внутри тела, как бы в оболочке, в минуту смерти она покидает тело, вылетает из какого-то внутреннего места тела». Это представление, — говорит Страхов, — «чисто механическое, о душе мыслят как о каком-то тонком вещественном предмете, окруженном предметом более грубым, телом. На самом же деле различие между душой и телом не во внешней отделности, а в существенной противоположности, и связь между ними «гораздо глубже, чем простое соприкосновение одного вещественного предмета с другим, в котором оно заключено». «Тело — не существо чуждое душе, в которое она как бы насильственно вложена, а составляет непрерывное ее создание, как говорится, в «плотности». Душа и тело, идея и природа, дух и материя — это разные выражения все того же двучлена, в котором первый член является активным, творчески создающим по отношению ко второму. В одном

¹ См. его статью «Об индюшках и о Гегеле», «Время», 1861, кн. 9, стр. 60—78.

² «Философские очерки», стр. 32; см. также стр. 15—20, еще стр. 50.

из писем к Н. Гроту¹ Страхов выражает эту же мысль следующим сравнением: «Материя, по-моему, есть только поприще духовных явлений, их поле, те леса и лестницы, по которым дух движется. Параллельность выходит так же, как ступени лестницы параллельны шагам поднимающегося или спускающегося человека. Ступени не только не производят этого движения, но даже должны быть совершенно неподвижны». Материя и по Страхову, конечно, подвижна, как и дух, ее движущий: каждый новый момент в становлении духа находит свое воплощение в формируемой им материи; но сравнение это отлично подчеркивает подчиненность материи духу, как и тела — человеческой душе.

Эта родственность страховского дуализма с философскими воззрениями Достоевского, которые мы улавливаем, сквозь творческий его метод, и в художественных его построениях, идет еще дальше и глубже. Мир материальный и мир духовный резко противоположны — с точки зрения Страхова. В мире материальном все — «наружное, познаваемое»; к нему могут быть приложены все наши познавательные силы и способности, для которых нет никаких пределов в смысле познания законов внешней природы. В мире же духовном все — внутреннее, закрытое для чужого глаза; «душа есть область темная и таинственная»;² если она и поддается познанию, то приемы во всяком случае должны быть совершенно другие. Так как здесь, по Страхову, возможно только внутреннее наблюдение, «устремление взора в утробу себя», то, очевидно, мы должны сделать усилие, дать нашим мыслям непривычный ход, обратный их обыкновенному ходу,³ уединить себя, для целей внутреннего наблюдения, от мира внешнего. «Главное, — продолжает Страхов, — здесь заключается не в старании закрыть себя от внешнего мира, а в том особенном повороте мысли, который Декарт выражает словами: „Буду считать все образы вещественных предметов пустыми и ложными, буду смотреть на свои ощущения и образы только как па виды своего мышления“». Очевидно, я могу и должен уметь это сделать, и не закрывая глаз и не затыкая ушей». Это положительно точ-

ное описание психологического метода Достоевского, его постоянного «обратного хода»: от внешнего мира к внутреннему; и именно, не затыкая ушей и не закрывая глаз, смотрят у него люди «на свои ощущения и образы как на виды своего мышления»: в основе у него ведь всегда идея.

Когда же перед Страховым стоит вопрос: в чем же сущность души, истинная ее природа, то на это он так отвечает: «Истинная ее природа обнаруживается при полном ее раскрытии... в те минуты полной душевной энергии, которые иногда испытывает человек. Рассматривая эту полную душевную жизнь, мы видим, что призвание истины, блага и свободы... составляет то необходимое условие, при котором только и можем мы жить, без которого мы видим перед собою пустоту, ничтожество и бессмыслие... Без этих повятий, которых нигде нельзя вывести, нельзя иметь представления о душе и ее жизни».⁴ Так замыкается идеалистическая система, в центре которой человек, его душа, как высшая ступень духовного. В книге своей «Мир как целое» спокойный, уравновешенный Страхов поднимается почти до поэзии, когда мыслит о месте человека в природе, устанавливает, по выражению Толстого, «иерархию существ и явлений».⁵ Наука, — говорит Страхов в своей книге «О вечных истинах», — не объемлет того, что для нас всего важнее, всего существеннее, — не объемлет жизни. «Вне науки находится главная сторона нашего бытия, — то, что составляет нашу судьбу, то, что мы называем богом, совестью, нашим счастьем и достоинством... Поэтому не только созерцание этих предметов в действительности, не только высокие отражения их у великих мыслителей и художников, а даже иной плохой роман, иная грубо придуманная сказка могут заключать в себе более общедоступный и сильный интерес, чем превосходнейший курс физики или химии. Каждый из нас не простое колесо в огромной машине; каждый, главным образом, есть герой той комедии или трагедии, которая называется жизнью».⁶ Так проводится резкая грань между философией и искусством — с одной стороны, и естественными науками, изучающими внешний мир, природу — с другой. Искусство не то, что истинные науки, у искусства задачи совершенно другие,

¹ «Вопросы философии и психологии», 1896, кн. 2, стр. 314.

² Н. Страхов. «Об основных понятиях психологии и физиологии», стр. 26—36.

³ Там же, стр. 39.

⁴ «Об основных понятиях психологии и физиологии», стр. 84—85.

⁵ Н. Страхов. «Мир как целое», стр. X—XI.

⁶ Н. Страхов. «О вечных истинах», стр. 54—55.

более сложные и более высокие и в сущности от внешнего мира даже не зависящие, как не зависят от этого внешнего мира человек, его душа. Природа есть непрерывное создание духа, как и тело человека — создание и выражение его души; такова основа страховского идеализма. Душа, идея — единственная активная творящая сила в окружающей действительности. Человек ставит себе задачи и цели. И «пока есть задача, которая не решена, пока есть замысел, который не исполнен, пока есть цель, которая не достигнута, — до тех пор возможна деятельность». В этом смысле «жизнь есть не только самоудовлетворение, но и саморазрушение, самонедовольство».¹ Герои Достоевского выражают эту же мысль на своем языке: «кто сказал, что человек непременно стремится к счастью? Может быть, страдание для него выше всякого счастья?» «Муки души, — продолжает Страхов, — побуждают нас вперед, к неразгаданному, несовершенному. Они суть муки рождения».

6

Страхов, исходя из своей идеалистической философии, так иронизирует по адресу «утилитаристов», в том числе и Чернышевского: «Но бросим и историю, и философию, и поэзию и все искусства. Одна будет у нас цель, и при том, кто не будет для нее работать! — м а т е р и а л ь н о е б л а г о с о с т о я н и е. И действительно, мы, вероятно, прекрасно устроимся, как скоро бросим заниматься пустяками. У каждого будет работа; все мы будем сыты, одеты, не будем терпеть ни голода, ни нищеты, будем здоровы, а заболеем — пойдем всегда докторов и лекарства. И тогда — тогда, конечно, можно будет позволить себе иногда позабавиться музыкою или поэзией, или пофилософствовать на сытый желудок»;² — эти слова мы читаем у Страхова в первой статье, направленной против «Современника», в майской книжке «Времени» за 1861 г. Здесь мы уже явно улавливаем не только мысль, но отделенно и интонацию, самый оборот речи, в будущих произведениях Достоевского: в «Записках из подполья», в «революционном катехизисе» Петра Верховенского из «Бесов» и даже в споре «великого инквизитора» с Христом в «Братьях Карамазовых». Великий инквизитор говорит то же самое, но только грубее, с гораздо большим презрением к человеку:

вместо музыки или поэзии «на сытый желудок», у него — когда все уже устроится, «разрешим им, людям, и грех; и они будут любить нас за то, что мы им позволим грешить».

В статье Страхова «Пример апатии» с эпиграфом из Пушкина: «Мы сердцем холодные скопцы» — она тоже печаталась у Достоевского во «Времени» в январской книжке за 1862 г. — идет разговор все о том же «материальном благосостоянии и вообще об устранении страданий, которым подвержено человечество».³ Страхов тоже считает, что это «самый живой современный вопрос». Но поднят он уже давно; о нем «говорится в Евангелии, и сказано там именно следующее: „ищите прежде царствия божия, и вся сила приложится вам“». Мне кажется, и ныне нет нужды изменять этого решения». По Страхову, это абсолютное значение души человека, высшее к нему уважение. Ибо: «Люди всегда были, есть и будут идеалистами». И дальше это положение так развивается. «Иногда говорят: хорошо человечество! Сколько времени люди живут на земле и до сих пор не умели устроиться так, чтобы никто не умирал с голоду. Какой несправедливый упрек! Разве люди когда-нибудь ставили себе подобное устройство главною и единственною целью? . . . Люди всегда желали больше; они вечно увлекались другими целями, иными желаниями. Они постоянно хотели сделать из жизни какое-то очень серьезное занятие, превратить ее в дело более важное и приятное, чем простое отсутствие страданий». Идеализм этот неискореним: «Отнять у человечества идеализм значит совершенно то же, что отнять у человека голову на том основании, что она у него болит». «Мир управляется идеализмом. . . ; власть и господство принадлежит той силе, которая всех креще и одна непобедима — идеализму. . . Как прежде, так и ныне исцелить и спасти мир нельзя ни хлебом, ни порохом и ничем другим, кроме благой вести».

Все эти мысли, если взять их изолированно, конечно, в высшей степени не оригинальны; любой «батюшка» произносил подобные речи с церковного амвона не один раз. Но они связаны с целостной философской системой, соответствующей определенному историческому моменту в общественных отношениях. И вот Достоевский откликается им чуть ли не во всех своих произведениях второго периода: начиная с «Записок

¹ Н. Страхов. «Мир как целое», стр. 186—188.

² Н. Страхов. «Борьба с нигилизмом», стр. 38.

³ Там же, стр. 122—125.

из подполья» и кончая «Карамазовыми». В «Дневнике писателя», в особенности в «Поучении старца Зосимы», он повторяет их почти дословно.

То же в статье Страхова «Тяжелое время»,¹ напечатанной в октябрьской книжке «Времени» за 1862 г., — по вопросу о нравственной ответственности человека и об общественном благополучии. Когда Страхов говорит, что «тот оскорбляет человеческую природу, кто воображает, что можно устроить благополучное человеческое общество без содействия его сознания и свободы», предпочитая развитие благополучия в обществе развитию нравственности, то и эта мысль часто повторяется Достоевским; книга пятая «Pro и contra» в «Братьях Карамазовых» целиком на ней основана.

И таких примеров единомыслия между ними можно привести очень много. Колоссально разнятся, конечно, размах мысли, способ ее выражения, эмоциональная окраска. Бесконечно вялым кажется прежде всего стиль Страхова в сравнении со страстной взволнованностью речи Достоевского. Но это уже тема другая.

7

Когда, на склоне своих лет, Страхов писал Н. Гроту, что у него «нет ни одной страницы антилиберальной» и деспотизму он не сочувствовал, то он конечно был не совсем прав. Философски спокойный, пребывавший всегда в «мире отвлеченностей», он, в меру своей уравновешенности, умел без особенных усилий соблюдать тон некоего беспристрастия. Достоевский, в воспаленном гневе, нередко позволял себе унижаться до грубой брани по адресу своих живых и мертвых противников: ругал Некрасова, оскорблял память Белинского, издевался в шарже над Тургеневым и т. д. и т. д. Превышал нередко меру в своих напаках на идейных врагов и Аполлон Григорьев; я беру людей из наиболее близких Страхову, минуя писателей и публицистов из крайне правого лагеря, у которых ругань была их природным стилем.

Страхов поступал по-своему последовательно, когда он боролся с «позитивистами» и «материалистами», не только в сфере отвлеченной философской мысли, но и в области тех практических выводов из теоретических положений, которые они делали применительно к окружающей действительности. И именно потому, что в 60-х годах (как это всегда

бывает, когда классовая борьба принимает острые формы) расстоянию между теорией и практикой почти отсутствовало, «философия немедленно переводилась в действие», теория не только оправдывала действие, но сама становилась орудием действия, — со всякой философией жизнь тогда снимала ее пышные покровы, и обнажалась до очевидности ее классовая сущность. Под знаменем идеализма выступали тогда и после разные социально-политические течения; и махровая реакция в лице Каткова с его «Московскими Ведомостями»; и славянофильский консерватизм, к этому времени уже значительно окостеневший, в лице Ивана Аксакова и его группы; и бледнорозовый либерализм «Вестника Европы» Стасюлевича и компании; несколько позже этим же знаменем идеализма размахивало даже наглое в своей беспринципности, торгашески пошлое «Новое Время» Суворина; объединяла же их всех на протяжении полувекна борьба с материализмом, как с теорией революционной демократии. Страхову, может быть, было не совсем приятно соседство некоторых; так, например, кн. Мещерского он явно презирал; не любил он и Каткова; больше всех ему было по душе Иван Аксаков. Но это ведь уже частности. Его ясный логический ум отлично понимал, что из всякого идеализма, в том числе и его идеализма, непосредственно вытекает отрицание революции, а на практике — борьба с нею.

Так, очень показательны в этом отношении три книги Страхова, полуфилософские и полупублицистические: «Борьба с Западом»; в частности — его понимание Герцена. Для того лагеря, к которому Страхов принадлежал или с которым соприкасался, его освещение деятельности Герцена, самый подход к нему, очень спокойный, почти сочувственный, — должны были казаться чуть ли не отступничеством. В течение всех 60-х годов с «лондонской и женеvской эмиграцией» даже не полемизировали в пределах приличия: «бочками сороковыми» обливали их грязью. В статье «Старые люди», напечатанной в первом номере «Гражданина» за 1873 г., стилем, несколько замаскированным, но в основе в высшей степени грубо нападает на Герцена и Достоевский: сам, дескать, живет в довольствии, в роскоши и в безопасности, а людей, молодежь, подбивает на революцию, посылает на убой, — таков смысл его обвинения. Страхов же подходит к Герцену совсем с другой стороны. Ему важно уяснить весь путь, проделанный Герценом.

¹ Н. Страхов. «Борьба с материализмом», стр. 167—168.

Герцен, большой писатель и большой мыслитель, глубоко честный, беспощадно последовательный и смелый в своих исканиях и действиях, — с чего он начал и к чему пришел? Оправдана, по Страхову, вся его деятельность, революционная, поскольку она вытекала из его сложной и правдивой натуры; оправданы и уход его из России, и увлечение социализмом и отрицание религии; ни одного упрека по его адресу нет у Страхова. И все же, по существу, это, может быть, самая контрреволюционная его работа, и в частности потому, что тон найден в ней внешне чрезвычайно убедительный для его цели.

Берется основной тезис: Герцен — пессимист. Пессимистом Герцен был и в самых первых своих произведениях: и в «По поводу одной драмы», и в «Кто виноват», и в своих философских статьях; пессимистом он стал, после кратковременного увлечения, и по отношению к Западу. Он был всю жизнь свою пессимистом потому, что слишком серьезны были его запросы; он проникал в глубь всякой идеи, и когда идея, по узости своей или неправильности, переставала его удовлетворять, он не упорствовал и отходил от нее. Но идеи его были западными; среди русских больших мыслителей и писателей это самый западный человек, стоявший, рядом с Прудоном и Фейербахом, на самом высоком уровне европейской культуры. И в этом было его несчастье. Как истинный западник, он не постигал самобытных основ русского народа, следствием чего было «отречение от своего, русского», во имя идеалов Запада. И тогда он оставил Россию, отдал вначале свои силы самой передовой европейской стране, Франции, пытаясь участвовать в приложениях на деле этих идеалов. Когда же они якобы оказались несостоятельными, то последовало «отречение и от чужого». И в душе, опустошенной этим процессом двойного отречения, но «вместе и очищенной от всех пристрастий и предрассудков», пробудилась впервые вера в Россию, послышался «живой, незаглушимый голос кровных симпатий, естественного сочувствия к духовной жизни родины», «Письма из Франции и Италии», «С того берега». «Русский народ и социализм» — таковы вехи по пути возвращения Герцена на родину, на которую он до конца все же не вернулся: «Отчаявшийся западник превра-

тился в нигилистического славянофила, а во многих отношениях оказался истинно русским человеком».¹ Русским человеком Герцен оказался тем, что, «пробывав с последовательностью и быстротою русского ума все ступени этого процесса», он, наконец, почувствовал-таки веру в Россию; но стал он славянофилом нигилистическим, не подлинным, — не по-славянофильски воспринял он сущность народных начал.

Цель работы о Герцене ясна, Страхов сам ее точно определяет в последнем абзаце: «Вот пример и поучение для всех наших литературных партий. Наше типовое, народное, наш особый культурно-исторический тип — понемногу растет и зреет, все претворяя в свою пользу».

Так пытался Страхов использовать для своих целей революционного демократа Герцена.

8

Сборники статей Страхова «Борьба с нигилизмом» и «Борьба с Западом», — хотя они-то в свое время больше всего и способствовали его известности, — в сравнении с его научными и философскими работами занимают, конечно, гораздо более скромное место: это лишь частные выводы из общих положений его философской системы, сделанные, в большинстве своем, по случайным поводам. Такое же место занимают и критико-литературные его статьи: о Пушкине, Тургеневе, Толстом и др. Над принципиальными вопросами искусства, в частности — литературы, Страхову вообще пришлось мало работать: он взял систему взглядов у своего единомышленника, как известно, тоже приверженца немецкой идеалистической философии, Аюлллона Григорьева несколько ее упростил, отшлифовал ее и пустил в жизнь. Мы, может быть, не ошибемся, если скажем, что и Достоевский воспринял Григорьева главным образом в интерпретации Страхова: целый ряд основных положений из григорьевской «органической критики» отсутствует у них обоих.

Страхов изложил, по Григорьеву, свое понимание искусства в своих известных статьях о «Войне и мире» Толстого.² На Григорьева он прямо и ссылается: «Григорьевым так верно и глубоко указаны существеннейшие черты движения нашей литературы», что если бы даже этого желали, мы не могли бы быть оригиналь-

¹ Н. Страхов. «Борьба с Западом, кн. I, стр. 137.

² Напечатано впервые в журнале «Заря», 1869, январь—февраль; отдельно в книге «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Я. Н. Толстом».

ными».¹ Указывается прежде всего, для «общих начал» критики А. Григорьева, тот самый первоисточник, откуда Страхов заимствовал «общие начала» и для своей философии: «Эти глубокие начала заветаны нам немецким идеализмом, единственной философией, к которой до сих пор должны прибегать все, желающие познать историю или искусство».² Следствие этой немецкой философии истории и искусства пытаются и современные выдающиеся критики Запада: Ренан, Карлейль, Тэн, но понимает ее по-настоящему, проникнут ею до конца только А. Григорьев. Тэн, например, чрезвычайно ее упрощает, использует ее позитивистически; для него каждое художественное произведение есть только «сумма тех явлений, под которыми оно явилось: свойств племени, исторических обстоятельств и пр.». Для Григорьева же эти «свойства племени и исторических обстоятельств» сами являются производными, как и произведения искусства, ими обусловленные: «все они частные и временные проявления одного и того же духа»; сам Страхов сказал бы: «непрерывное создание этого духа». «Общее и неизменное», «вечные требования» души человеческой, ее жизненные законы и стремления составляют сущность человечества в целом; оно же, это общее и неизменное, обособившись, воплощается в каждом отдельном народе, составляет его сущность, которая проявляется ярче всего в искусстве. Так мы и должны смотреть на художественные произведения какого-нибудь народа как на «многообразные попытки выразить все одно и то же — его душевную сущность».³

Они, эти произведения искусства, только попытки в формах многообразных, потому что дух, идея, душа, по гегелевской диалектике, находятся всегда в движении, в развитии. А кроме того, здесь сказывается еще это огромное, нередко подавляющее влияние чужих идеалов, «различных вполне сложившихся исторических типов» других народностей. Формы явной жизни, иных народных организмов вызывают иногда к себе такое сочувствие, что там, куда они проникают, совершенно затемняются своя народная сущность, свой народный тип. В таком именно положении и была русская литература до появления Пушкина. В этом и заключается великое значение творчества Пушкина, что

он первый, по-настоящему, вступил в борьбу с этими чуждыми типами. То-есть, с одной стороны, он находил в себе «стихии и силы для сознания соответствующих идеалов, для действительного усвоения этих типов, их переживания»; в особенности это относится к байроновским типам: было «стремление отозваться на известный тип, дорости до него своими душевными силами и, таким образом, померяться с ним; с другой стороны — неспособность живой и самобытной души вполне отдаться типу, неудержимая потребность отнестись к нему критически и даже обнаружить и признать в себе законными сочувствия, вовсе не согласные с типом».⁴

Так, «в процессе, совершавшемся в душе поэта», намечаются три момента: 1) «пламенное и широкое сочувствие всему великому, что он встретил готовым и данным» в чуждых тиграх, в формах и идеалах иных народных организмов; таково творчество Пушкина лицейского периода, первого петербургского периода до ссылки и периода южных поэм; 2) «невозможность вполне уйти в эти сочувствия, окаменеть в этих чуждых формах», отсюда критическое отношение к ним, начинающийся «протест против их преобладания» уже в «Цыганах», в развенчании в лице Алеко байроновского героя; и 3) любовь к своему, к родному, к «своей почве». «Когда поэт, — приводит цитата из Аполлона Григорьева, — в эпоху зрелости самосознания привел для самого себя в очевидность все эти, повидимому, совершенно противоположные явления, совершавшиеся в его собственной натуре, то, прежде всего правдивый и искренний, он умалил себя, когда-то Пленника, Гирея, Алеко, до образа Ивана Петровича Белкина».

Тип Белкина стал почти любимым типом поэта в последний период его творчества. «В топе и взгляде этого типа он рассказывает нам многие добродушные истории», и «Летопись села Горюхина» и семейную хронику Гриневых, «Капитанскую дочку», — «эту родоначальницу всех теперешних семейных хроник», к которым Страхов относит и «Войну и мир» Толстого. И снова полное единомыслие с ним Достоевского. Достоевский неоднократно говорит, в письмах и публично, в статьях своих, что как ни велика и совершенна в наших глазах и в глазах Европы эта

¹ Там же (в книге о Тургеневе и Толстом), стр. 312.

² Там же, стр. 304.

³ Там же, стр. 306.

⁴ Там же, стр. 287.

поэма Толстого, она все же не «новое слово». Явиться с «Повестями Белкина», с «Капитанской дочкой» — это, действительно, значит: явиться с новым словом; «Война и мир» есть только продолжение и дальнейшее развитие этого слова. И вместе со Страхovem Достоевский тоже вполне согласен с основной мыслью Аполлона Григорьева, что «Белкин есть простой здравый толк и здравое чувство, краткое и смиренное, — вопиющее закономерно против злоупотребления нами нашей широкой способностью понимать и чувствовать»; что именно в этом типе и обнаружилась гениальная широта взгляда и вполне самобытная сила творчества Пушкина: «одной поэзии он противопоставил другую, Байропу — Белкина»; бедная, смиренная русская действительность открылась ему со всей своей поэзией, которая только в ней была; вместо «высокопарных мечтаний», вместо «увлечения мрачными и блестящими типами» европейскими появилась любовь к простому русскому типу, «способность к умеренному пониманию и чувствованию».

Но этот «простоватый лик» Белкина — окончательный ли тип русского народа, полное выражение его «сущности»? Славянофилы ответили бы: да! Белкин противостоит Алеко, Онегину и другим «хищным» типам, как противопоставляет народ западнической интеллигенции, Россия допетровская — России после-петровской, и еще шире: как Восток — Западу. Григорьев, а вслед за ним Страхoв и Достоевский говорят иначе: Пушкин и в эпоху умаления себя до Ивана Петровича Белкина от гордых типов не отказывается. Чисто русский страстный и сильный тип мы имеем в Пугачеве, в Дубровском, в Петре Великом (в «Медном всаднике»). Да и сам Белкин потому и не «превращается в свинство», что по сознанию своему все же несколько выше простоватых героев своих повестей. В типе Белкина «узаконивалась и притом только на время, только отрицательно, критически, чисто типовая сторона».

Именно, узаконивалась лишь одна сторона из русского типа, и то лишь на время для того, чтобы к Западу, к его «сильному типу», отнестись критически, но не отвергнуть. Вот где грань, — как бы, временами, ни становилась она тонкой, что едва ощущалась, — которая отделяла их от славянофилов: Стрaхова и Григорьева, как вечных поклонников немецкой мысли и литературы, Достоевского, как не менее страстного поклонника западной культуры, хотя во французской национальной форме, но философски, осмысленной в духе той же немец-

кой идеалистической мысли. Они все трое одинаково возмущены отрицательным отношением Белинского к «Повестям Белкина» и к смиренной, покорной Татьяне. Белинский не понял или не признал законности этой «чисто типовой» белкинской стороны сущности русского народа. Но в то же время прав, тысячу раз прав Белинский, когда он говорит о Пушкине, как о величайшем нашем *европейце*, о том, что «Евгений Онегин» — самое задушевное произведение Пушкина, что это «энциклопедия русского общества», что Пушкин, именно как *европеец*, и потому что *европеец*, сумел перевоплощать в своем творчестве гении всех народов.

«Пушкин — наше все. . . Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности. . . Полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной сущности. . . Самородок, прижимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, — разумеется в культуре Запада, — все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует. . .» — Так неустанно твердил Аполлон Григорьев. Почвенничество: не Восток и не Запад, не западничество и не славянофильство, не противопоставление интеллигенции народу, а слияние в некоем единстве, в синтезе; вот что представляет собою творчество Пушкина по А. Григорьеву, по Страхoву и по Достоевскому.

Образ русской народной сущности, пусть пока «только контурами набросанный», но все же «полный и цельный» — не Белкин и не Онегин, а сам Пушкин; пока только он один — «единственный полный очерк нашей народной личности». И вся русская литература от него идет и к нему стремится. Так объясняет Страхoв весь ход дальнейшего развития всей русской литературы после Пушкина. Вместе с А. Григорьевым он тоже видит в ней, с одной стороны, «тщетные усилия насильственно создать в себе и утвердить в душе обаятельные призраки и идеалы чужой земли»; с другой, — «столь же тщетную борьбу с этими идеалами и столь же тщетные усилия вовсе от них оторваться и заметить их чисто отрицательными и смиренными идеалами». В Пушкине борьба эта имела свой правильный характер, так как его гений ясно и спокойно чувствовал себя равным всему великому, что было и есть на земле. У других же, у его последователей, — односторонность, неполнота; лишь некоторые контуры пушкинские заполняются красками. Так, Григорьев говорит о Гоголе, что «Гоголь явился только меркой

и антипатий» по отношению к чужим типам и идеалам, — «поэтом чистотрицательным». И Страхов вполне с ним согласен. Сила Гоголя была направлена на то, чтобы развенчать эти «идеалы чужой земли», эти байроновские страстные и сильные типы на русской земле: «героического нет уже в душе и жизни; что кажется героическим, то в сущности — хлестаковское или поприщинское». «Симпатий же наших кровных, племенных, жизненных Гоголь олицетворить не мог»; даже образа хотя бы о д н о й, но положительной, русской «чистотиповой стороной», типа хотя бы Белкина, он не создал.¹

И так же о Тургеневе, Толстом, Писемском, Островском. В противоположность Гоголю, они все преимущественно разрабатывают смиренный белкинский образ, и это тоже односторонне: одни из них слишком поэтизируют Белкина, другие же чувствуют его крайнюю ограниченность, но создать полный очерк «нашей народной личности» не могут. «Пушкинский Белкин — приводит Страхов слова Григорьева, — это тот Белкин, который плачется в повестях Тургенева о том, что он — вечный Белкин, что он принадлежит к числу „лишних людей“ или „куцых“; которому в Писемском смерть хотелось бы (но совершенно тщетно) подсмеяться над блестящим и страстным типом; которого хочет не в меру и насильственно поэтизировать Толстой и перед которым даже Петр Ильич драмы Островского „Не так живи как хочется“ — смиряется. . . по крайней мере до новой масленицы и до новой Груши».²

Эстетические принципы А. Григорьева, его отношение к Пушкинскому и взгляд на общий ход русской литературы после Пушкина были приняты Страховым и Достоевским до и о н а. Страхову нетрудно было подвести под них общие основы своей идеалистической философии; Достоевский, как было уже сказано, осмыслил свой творческий метод и свою художественную идеологию страховской же философией. Некоторые нюансы они все-таки оба вносят во взгляды Григорьева, отчасти, пожалуй, по его же вине. Григорьев сам, при всем своем сознании неполноты типа смиренного Белкина, значение этого типа в творчестве Пушкина и для всей последующей русской литературы слишком преувеличивает. Страхов, в особенности Достоевский, идут здесь

еще дальше: по мере приближения их к чистому славянофильству, значение смиренного типа в их глазах вырастает все больше и больше. Страхов делает это с оговорками, осторожно; Достоевский — со всею страстью своей натурой, без всяких оговорок. Страхов в своих восторженных статьях о «Воине и мире» хотя и пишет, что у Толстого «с неотразимую силою и прелестью раздался голос за простое и доброе, поднявшийся в душах наших против ложного и хищного», и в этом величайшее значение романа, но все же считает нужным добавить, что «не весь русский идеал воплотился у г-р. Л. Н. Толстого», ибо «невозможно отрицать, чтобы люди решительные, смелые не имели никакой важности в ходе дел, чтобы русский народ не порождал людей, дающих простор своим личным взглядам и силам».³ Впрочем, — добавляется тут же, — «вообще нельзя отрицать, что простота, добро и правда составляют высший идеал русского народа, которому должен подчиняться идеал сильных страстей и исключительно сильных личностей». Упрек, таким образом, относительно неполноты русского идеала почти снимается.

А Достоевский, когда говорит о Пушкине, — говорит же он о нем больше, чем кто-либо из его современников — то почти всегда величие его гения связывает с этими «исконными чертами русского народа» в стиле именно славянофильском: с белкинской «простотой и правдой». Так строит он и свои художественные произведения: «люди решительные, смелые, дающие простор своим личным взглядам и силам», хотя и играют в них исключительную роль, — «хищному типу» он уделяет главное внимание, — но в борьбе с ним победа, по крайней мере по авторскому замыслу, всегда отдается «высшему идеалу русского народа»: евангельской Соне Мармеладовой, Манару Долгорукому (в «Подростке»), Алеше Карамазову и старцу Зосиме.

9

Исследователи обыкновенно говорят о влиянии на Достоевского Владимира Соловьева; кое-кто выдвигает имя Федорова; может быть, слишком мало внимания уделялось до сих пор старшим славянофилам: Хомякову и Ивану Киреевскому. Но в первую очередь, конечно, должен был быть поставлен вопрос о Стракове, хотя бы

¹ А. Григорьев. Собрание сочинений, ред. Страхова, т. I, стр. 240.

² См. Н. Страхов, «Критические статьи о Тургеневе и Толстом», стр. 295, 311—312.

³ Там же, стр. 356—360.

уж потому, что в самом начале 60-х годов, когда «процесс перерождения убеждений» Достоевского только что стал намечаться, около него находился тогда только Страхов и дружба между ними, как это уже было указано, была настолько тесная, что переходила почти уже в «нежность». В небольшом кругу разрабатывавших идею «почвенничества» Страхов во всяком случае был личностью очень значительной; он обладал той последовательностью, которой недоставало ни Достоевскому, ни Аполлону Григорьеву. Было у Достоевского немало поводов и причин, толкавших его, — как он сам говорил, — на «рenegатство». Но нужно знать ближайшую сферу идейную, в которой это «отступничество» совершалось: кто именно оказывал ему поддержку, при чьей помощи он уяснял себе свой новый путь, на который он вступал, наверно, колеблясь и спотыкаясь, — не легко же было ему расставаться со своим прошлым, где сияли такие личности, как Белинский, идеям которого, в период дружбы с ним, он клялся: «Пребуду верен», и был верен, в годы юности не нарушил клятвы; когда стоял на эшафоте, то за пять минут до казни только ведь тем и утешался, что не изменил своим убеждениям.

Ценность тех писем, которые мы здесь публикуем, *полностью*,¹ как единый неразрывный цикл, в том и состоит, что они бросают яркий свет на идейно-философское формирование Достоевского во вторую половину его жизни. Противопоставление А. Григорьева Белинскому — в первом же письме 1868 г. за границу; и тут же грустное воспоминание о «веселых редакционных временах» «Времени» и «Эпохи», высокая оценка «значения нашего кружка» как «главной струи нашей литературы». Во втором письме: о новом журнале «Заря», о редакторе его Кашпиреве, и опять, в связи с ним, о тех счастливых временах *п е р в о й* половины 60-х годов — о Кашпиреве как о «воспитатнике „Времени“ и „Эпохи“»; и тут же о Данилевском, создавшем «целое учение славянофильства в более определенных и ясных чертах». В письме третьем снова А. Григорьев: он выше Белинского; и какое было «тонкое и сочувственное понимание» со стороны Достоевского, когда он, Страхов, писал в его журналах; а в новом журнале под редакцией Страхова: «в „Заре“ вам также развязаны руки, как во „Времени“». И дальше в переписке обмен взглядами почти

во всем единомышленников: о православии, о капитальном значении нового обоснования славянофильства Данилевским, о Парижской Коммуне, как о крайнем выражении идейной сущности гниущего Запада, о русском западничестве и тут уж, конечно, опять о Белинском и об А. Григорьеве и о «Времени» и т. д. и т. д. — все те же вопросы и темы первой полосы взаимной дружбы и полного понимания. Воистину атмосфера все та же; слова, даже вскользь брошенные, все время ассоциируются с тем, что было совместно пережито и передумано.

Разбираясь, уже после смерти Достоевского, в своих отношениях с ним, Страхов писал подводя, по своему обыкновению, частный случай под некое обобщение: «Близость между людьми вообще зависит от их природы и при самых благоприятных условиях не переходит известной меры. Каждый из нас как будто проводит вокруг себя черту, за которую никого не допускает. Или лучше — не может никого допустить. Так и наше сближение встречало себе препятствие в наших душевных свойствах». Но это все же были отношения дружбы. «Наша тогдашняя дружба имела преимущественно *умственный* характер, была *очень тесная*. Тесная дружба именно *умственного* характера, на почве философского и литературного единомыслия, нам здесь и важна была. И оттого, что мало зависела от их «душевных свойств», дружба могла продолжаться в этом «умственном своем характере» очень долго, хотя бы и произошло между ними, из-за «разницы натур», некоторое охлаждение. В период формирования философских убеждений Достоевского после каторги рядом с ним, на первом месте, стоял Страхов. Владимир Соловьев, старшие славянофилы — это потом, и на почве, уже подготовленной.

Мы пытались выяснить здесь один из главных источников реакционных воззрений Достоевского-мыслителя, публициста, проводившего эти же воззрения и в произведениях художественных второго периода. От философского идеализма Страхова — к богу, к православию, ко Христу, который должен противостоять, как начало этическое, «проклятому и самоуверенному материализму», атеистической революционной теории Чернышевского. Это,

¹ Включены и письма, напечатанные не совсем точно в ставшем библиографической редкостью «Русском Современнике» (1924, кн. I, стр. 196—205; здесь они за №№: VI, VIII, XIX, XX и XXI).

конечно, отнюдь не весь Достоевский. Гениальный художник, талант которого, как говорил А. М. Горький, «по силе изобразительности равен может быть только Шекспиру» (доклад на первом Всесоюзном съезде советских писателей), — он не мог не отразить в какой-то мере в своих романах общественные противоречия эпохи.

Но это уже выходит за пределы настоящей темы.

Несколько слов о комментарии. Так как основные темы писем освещаются здесь, во вступительном очерке, комментарий очень сжат и краток. Затем, в виду того, что при чтении страхов-

ских писем необходимо иметь перед собою ответные письма Достоевского, в комментарии имеются частые ссылки на три тома его писем, мною выпущенные в издании Госиздата (первые два тома) и «Academia» (том третий). Сведения, которые можно найти в любой энциклопедии, если они не требуют никакого исследования, мною обычно опускаются. Опускается мною и аннотация известных имен; краткая аннотация дается лишь в тех случаях, если их можно спутать с другими, носящими те же имена.

А. С. Долинин.